

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ

Литература и жизнь

«Разными путями можно идти к одной цели. Ваша дорога отлична от моей, оружие, которым Вы боретесь, — иное, но мы идем в одну сторону, ведем одну войну. И вы, и я окружены врагами, тем отраднее встретиться друзьям. Дух того, что Вы пишете, близок мне, и я дарю Вам эту книгу — первые ступени к новой красоте, которая дорога нам обоим».

В этих выражениях З. Н. Гиппиус (Мережковская) посвящает А. Л. Волынскому собрание своих рассказов, озаглавленное «Новые люди».

Великое дело дружба, и даже отвергающий все существующие общественные узы Ницше говорит: «Не любви к ближнему учу я вас, а любви к другу; да будет для вас друг праздником на земле и предчувствием сверхчеловека» (Also sprach Zarathustra [Так говорил Заратустра], 2-е изд., с. 85). Но ценность дружбы имеет свои ступени, смотря по источнику. Она может исходить из смутных инстинктивных влечений, из простой привычки и, наконец, из сознания общности целей. Эту последнюю, самую высокую степень и представляет печатно заявленная и, следовательно, подлежащая печатному обсуждению дружба г-жи Гиппиус и г. Волынского. Собственно, обсуждать тут, пожалуй, и нечего. Одно можно сказать: дай Бог всякому. Но из заявления г-жи Гиппиус мы можем все-таки извлечь некоторую пользу. Конечно, не вся эта польза связана с афишированной г-жою Гиппиус дружбою, а относится и к широкой области «познания всякого рода вещей». Мы узнаем, например, что г-жа Гиппиус «окружена врагами» и, разумеется, проникаемся сочувствием к ее трудному положению. Шутка в самом деле сказать: окружена врагами! И за что?! Речь идет, конечно, не о каких-нибудь личных врагах, не об Сидоре Карпыче каком-нибудь или Дарье Сидоровне, до которых читателю нет никакого дела, а о врагах на поприще общественной деятельности. По всей вероятности,

именно такого рода врагов разумел даже Чичиков, когда говорил генералу Бетрищеву: «А что было от врагов, покушавшихся на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самая, так сказать, кисть не сумеют передать». Чичиков терпел «за правду». За что же терпит г-жа Гиппиус? Пишет она второго сорта безобидные рассказы, которые беспрепятственно печатаются в разных журналах, не вызывая больших восторгов, но не вызывая и каких-нибудь яростных нападений. Так себе, в числе прочих. Откуда же враги и зачем они окружили г-жу Гиппиус? Оказывается, однако, что она не простые заурядные рассказы пишет, а «ведет войну», и рассказы ее хотя действительно не совершенны, но только потому, что это еще «первые ступени» к «новой», доселе невиданной «красоте». Таким образом, деятельность г-жи Гиппиус получает новое и, согласитесь, неожиданное освещение. Сострадая горестному положению г-жи Гиппиус, окруженной врагами, вы естественно сочувствуете и ее «отраде» встречи с другом. Что касается этого друга, то и он окружен врагами, по свидетельству г-жи Гиппиус. Это уже не так неожиданно: критику и публицисту мудрено обойтись без врагов, и г. Волынский несомненно «ведет войну». Но и друзьями он, по-видимому, не беден. Я давно уже не читаю руководимого г. Волынским «Северного Вестника», — частью по чувству брезгливости, частью по убеждению, что потребное для этого время можно употребить с большею пользою и удовольствием. Но сведущий человек, бывший редактор-издатель «Северного Вестника», Б. Б. Глинский рассказывает о г. Волынском такое («Болезнь или реклама?» в февральской книжке «Исторического Вестника»), что он является, напротив, окруженным друзьями. Да вот и г-жа Гиппиус считает нужным публично заявить, что она друг г. Волынского. Ну, а совсем без врагов нельзя, — у кого же из нас их нет?

Всем этим я отнюдь не хочу смягчить трагизм положения г-жи Гиппиус среди врагов или умалить отраду ее встречи с другом. Я беру факты в собственном ее освещении, и так как это освещение для меня — да, полагаю, и не для одного меня — совершенно ново и неожиданно, то пересмотрим книжку г-жи Гиппиус с некоторым вниманием, не так бегло, как мы читали ее рассказы зауряд с другими в журналах. Дело стоит труда, ибо мы узнаем в результате — с кем и за что ведут войну г-жа Гиппиус и ее друг, за что окружили их враги и в чем состоит та невиданная доселе красота, которая дорога им обоим. При этом получится еще та выгода, что, благодаря заявлению г-жи Гиппиус, мы познакомимся и с г. Волынским, не марая рук об него самого: они ведь идут к одной цели.

В книжке г-жи Гиппиус есть, кроме рассказов, еще стихотворения. Их счетом двенадцать. Остановимся хоть на двух.

ПЕСНЯ

Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею.
И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным...
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.
Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю.
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю...
И это желанье не знаю откуда
Пришло откуда.
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!
О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает.
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает —
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете!

По-видимому, содержание этого стихотворения знакомо и старым поэтам, представителям и служителям старой красоты. Это — настроение беспредметной тоски, лишь осложненное у г-жи Гиппиус не то детски, не то истерически-капризной нотой: «Пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает; мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете». А что касается формы... Ныне много таких стихов пишут, и некоторые из них звучат красиво, вернее звучали, в прошедшем времени, потому что раз красота сводится к чисто техническим приемам, она выдыхается, превращаясь в шаблон. А техника подобных стихов очень проста: изгнание ритма с сохранением рифмы и повторение или усиление последних слов предыдущей строки. Это еще Смердяков в «Братьях Карамазовых» практиковал. Помните:

Непобедимой силой
Привержен я к милой.
Господи помилуй
Ее и меня!
Ее и меня!

Или еще:

Сколько ни стараться,
Стану удаляться,
Жизнью наслаждаться
И в столице жить!
Не буду тужить.
Совсем не буду тужить,
Совсем даже не намерен тужить!

Конечно, Смердяков — лакей настоящий, душой лакей, а потому и мысли у него лакейские, притом же он человек малограмотный, а г-жа Гиппиус одушевлена высокими чувствами и вполне грамотна. Но я говорю только о том чисто техническом приеме, который, если даже он действительно входит в состав «новой красоты», то годится разве именно только для «первой ее ступени» и должен очень быстро выдохнуться и надоесть.

Возьмем другое стихотворение: «Цветы ночи».

О, ночному часу не верьте!
Он исполнен злой красоты.
В этот час люди близки к смерти,
Только странно живы цветы.
Темны, теплы тихие стены,
И давно камин без огня,
И я жду от цветов измены,
Ненавидят цветы меня.
Среди них мне жарко, тревожно,
Аромат их душен и смел,
Но уйти от них невозможно,
Но нельзя избежать их стрел.
Свет вечерний лучи бросает
Сквозь кровавый шелк на листы...
Тело нежное оживает —
Пробудились злые цветы.
С ядовитого арума мерно
Капли падают на ковер.
Все таинственно, все неверно —
И мне тихий чудится спор.
Шелестят, шевелятся, дышат,
Как враги, за мною следят,
Все, что думаю, знают, слышат
И меня отравить хотят...
О, часу ночному не верьте,
Берегитесь злой красоты!
В этот час все мы близки к смерти —
Только странно живы цветы.

Мне кажется, это лучшее произведение г-жи Гиппиус, и оно действительно очень хорошо, если видеть в нем горячечный

бред или монолог больного, страдающего манией преследования. Самое отсутствие ритма в данном случае чрезвычайно целесообразно, придавая монологу безумно тревожный характер; понятны и уместны с этой точки зрения странные сочетания слов вроде «злая красота»; и если не понятны, то простительны совсем не нужные строки вроде: «тело нежное оживает». Словом, стихотворение вполне удовлетворяет тому очень старому эстетическому правилу, в силу которого форма и содержание должны соответствовать друг другу. Иначе говоря, тут нет никакой новой красоты. Но я боюсь, что г-жа Гиппиус не согласится с таким толкованием «Цветов ночи», что это для нее совсем не горячий бред и не монолог больного манией преследования. Недаром же она сама, находясь в здравом уме и твердой памяти, «окружена врагами», от которых она, может быть, тоже «ждет измены», которые ее «ненавидят» и «отравить хотят». Тогда дело совершенно изменяется, и приходится опять припомнить «Братьев Карамазовых», и в них слова старца Зосимы, обращенные к старику Карамазову: «Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навывдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, — знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной». Федор Карамазов вполне соглашается с этой характеристикой. Он говорит: «Именно, именно приятно обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не слышал еще. Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятности, для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной раз обиженным быть; вот вы что забыли, великий старец: красиво!»

Не в этих ли, по выражению того же Зосимы, «ложных жестах» состоит «новая красота»? Я думаю, что именно в них и что стихотворения г-жи Гиппиус составляют уже не первые ступени к ней, ибо таковые уже даны разными декадентами. Надо, однако, заметить, что стихотворения г-жи Гиппиус, в отличие от прочих декадентов, не вовсе лишены смысла. Совсем бессмысленно набора слов у нее даже вовсе нет, но тем, может быть, яснее выступает общий родовой признак — «ложные жесты». Такого капризного требования того, «чего не бывает, чего никогда не бывает»: это «ложный жест», ибо г-жа Гиппиус довольствуется и тем, что бывает, ну хоть дружбой. «Ложный жест» — и картинно ужасное положение человека, окруженного врагами: по совести говоря, нет ведь этих врагов. «Ложный жест» — и «злая

красота», хотя, к сожалению, этот пункт недостаточно ясен. Есть у г-жи Гиппиус стихотворение «Гризельда», по форме очень недурное и вместе с тем вполне обыкновенное, то есть без всяких фокусов по части размера и рифмы. Содержание же состоит в том, что Гризельда, жена рыцаря, уехавшего на войну, фактически устояла против любовного искушения, которое оставило, однако, в ее душе греховно-сладкую занозу. История тоже очень обыкновенная, но дело в том, что «искал над ней (Гризельдой) победы сам Повелитель Зла: любовною отравой и дерзостной игрой, манил ее он славой, весельем, красотой». «Гризельда победила, душа ее светла, а все ж какая сила у Духа лжи и зла!.. И снова сердце жаждет таинственных утех. Зачем оно так страждет, зачем так любит грех? О, мудрый Соблазнитель, злой Дух, ужели ты — непонятый Учитель великой красоты?» Как видите, и здесь мы имеем какое-то сочетание слов «зло» и «красота», но что все это значит, — г-жа Гиппиус дает слишком мало материала для ответа на этот вопрос и, может быть, даже сама не уяснила себе того особенного понимания «злой красоты» и «красоты зла», которое предъясняется некоторыми «новыми людьми». Я буду, вероятно, иметь случай вернуться к этому пониманию по другому поводу. А теперь обратимся к прозаическим произведениям г-жи Гиппиус, где естественно ожидать большей ясности и меньшего приложения той манеры, которая так нравилась Фамусову в современных ему московских барышнях: «Словечка в простоте не скажут, — все с ужимкой». Конечно, «ложные жесты» вполне возможны и в прозе, но там они по крайней мере не вуалируются сетью так называемых поэтических вольностей.

Мы имеем дело с рассказами, представляющими «первые ступени к новой красоте» и озаглавленными в своей совокупности: «Новые люди»; значит, можем рассчитывать найти в каждом из них и новую красоту, и новых людей. Рассмотрим три-четыре рассказа наудачу.

Рассказ «Мечь». Герой рассказа — восьмилетний мальчик Костя Антипов. По возрасту это, конечно, даже очень новый человек, но, может быть, и не только по возрасту, а и в том высшем смысле, который должны нам разъяснить «новые люди и первые ступени к новой красоте» г-жи Гиппиус. Восьмилетний Костя поражает своею просвещенностью. Он знает многое такое, чего мы, люди старые, в восемь лет не знали. Не по части «наук» так сведущ Костя, о, нет: «У него есть старая учительница арифметики и закона Божия, но она часто пропускает уроки». Но зато «он знал, что ему восемь лет, и знал, что это очень много, для мужчины в особенности; женщины — те могут кис-

нуть хоть до двадцати лет, им все можно». Восемилетний Костя знал, почему бывавшие в их доме офицеры «любили больше маму, чем кузин, — это оттого, что мама считалась хорошенькой и была при других веселой и доброй». Восемилетний Костя знал, что «папа дает маме деньги на офицеров, и если он рассердится, то может не дать денег, офицеры не придут танцевать, и маме будет скучно». Восемилетний Костя «знал, что у него есть собственные деньги, от бабушки, и что ни папа, ни мама не могут их взять, хотя бы и пожелали». Вот какой просвещенный молодой человек! Правда, он не знал, откуда берутся дети, но и над этим вопросом задумывался.

При такой просвещенности восьмилетний Костя отличался еще необыкновенною злобностью. Приставленная к нему бонна всегда должна была от него ожидать «может, щипков, а может, и хуже». К отцу он питал «враждебность», мать «презирал». И когда однажды мать не взяла его с собой на пикник, он нахмурил брови и сказал «с достоинством»: «Ты, пожалуйста, со мной так не разговаривай. Это вздор, что на козлах нет места. Я хочу ехать на тройках, почему я не могу, если вы едете?» Не правда ли, в самом деле, сколько твердости и «достоинства» и новой красоты в этой реплике восьмилетнего нового человека? И когда разозленная его «достоинством» мать пригрозила ему, при гостях, розгой, он, естественно, очень оскорбился и задумал мечь, — ту самую мечь, которая и в заглавии рассказа стоит. Он целую ночь не спал, мечтая о мести. Он придумывал много, и все не годилось. «Разбить вазы и весь фарфор в будуаре? Опять будет история, на него станут кричать, а папа даст денег и выпишут новый фарфор из Москвы. Платье залить чернилами? То же самое. Осрамить ее? *Сказать офицерам, что у нее коса привязная? Да ведь у нее не привязная. Она распустит волосы и стыдно будет не ей, а Косте*». Заметьте опять, сколько познаний! Однако на этот раз Костя так ничего и не придумал. Но «он знал, что унывают лишь слабые; и он поклялся себе, даже ножом на руке знак сделал, хотя больно было, что он отомстит». Случай скоро представился. Костя нечаянно застал свою мать в объятиях офицера и сообразил, что это значит: «Мама целовала Далай-Лобачевского, а папа ей это воспрещает, потому что жена, которая целуется не с мужем, а с другим, изменяет мужу. И папа должен очень рассердиться, если узнает про это. Костя видел, как они целовались, и мама боится, что он скажет папе, а папа так рассердится, что, пожалуй, перестанет давать деньги. И у мамы не будет ни новых платьев, ни колец, и она уже не даст ни одного вечера и не будет танцевать с офице-

рами». И вот однажды, за большим парадным обедом, улучив минуту, когда гости замолчали, Костя громко спросил мать: «Мама, скажи, отчего ты папу никогда так крепко не целуешь, как Далай-Лобачевского?» Понятное дело, произошел скандал, которым маленький негодяй — потому что надо, наконец, правду сказать: этот новый человек действительно негодяй — остался очень доволен. Но когда, на другой день, мать должна была уехать и просталась с сыном, то и в этой танцевальщице, и в этом маленьком негодяе что-то проснулось: они плакали, ласкали друг друга и в то же время, среди острого горя, чувствовали какую-то не совсем понятную им радость...

На этом рассказ обрывается, и мы не знаем дальнейшей судьбы нового человека. Радость его и матери, примешивавшаяся к острому горю их расставанья, была, конечно, радость ощущения добрых чувств, возникших на почве сознания взаимной виноватости. Но это не гарантия добропорядочности Кости в будущем, которое остается нам во всяком случае неизвестным. И согласитесь, что если бы не этот неожиданный и несколько туманный конец рассказа, можно бы было думать, что г-жа Гиппиус пишет злую, даже чересчур злую сатиру на «новых людей» и «новую красоту».

Рассказ «Богиня». Здесь действуют люди старше восьмилетнего возраста: есть мальчик 10—11 лет, Амос Крестовоздвиженский, есть ученик шестого класса реального училища Виктор, есть пятнадцатилетняя девочка Женя Реш, есть другие молодые барышни, есть студент Апостолиди и т. д. Но мало быть молодым человеком, надо быть еще и новым человеком, с задатками новой красоты или со стремлениями к ней. Чтобы не утомлять, как себя, так и читателей, характеристиками всех действующих лиц рассказа, я прямо скажу, что новый человек есть студент Апостолиди, обыкновенно называемый и остальными действующими лицами, и самим автором «Пустоплюнди». Да не подумает читатель, что, давая своему герою такое смешное и презрительное прозвище и сам постоянно так его называя, автор уже тем самым выгоняет его из среды новых людей и за пределы новой красоты. Судите сами, а мы пока будем называть героя его настоящим именем. Апостолиди — грек и по отцу и по матери, но еще грудным ребенком был перевезен в Москву и почему-то «никогда даже не знал хорошенько, где он родился». Таких «почему-то» довольно много в жизни Апостолиди. Так, «среди товарищей он прослыл почему-то за идеалиста, мечтателя и даже поэта, хотя никогда стихов не писал, не знал и не читал их». «Всегда только непонятное и необъяснимое имело силу давать

ему радость. Он любил горячие, самые горячие лучи солнца и синее небо. Он часто летом ложился на землю, на траву и смотрел в самую глубину неба, где оно темное, темное... Он выбрал себе местечко в парке, на прогалинке, между прямыми соснами. И высокие, круглые, голые стволы этих сосен не мешали его радости, а даже увеличивали ее... Он точно вспоминал что-то, чего с ним никогда не случилось, может быть, страны, которых глаза его никогда не видели; он сам не знал, чего ему хочется».

Апостолиди приезжает репетитором в семью, живущую на даче; заводятся обыкновенные дачные знакомства, устраиваются общие прогулки. На одной из этих прогулок, в старом богатом помещицьем доме, Апостолиди увидал в одной из комнат статую Вакха. «Когда другие ушли из столовой, Пустоплюнди (это г-жа Гиппиус говорит) все стоял перед Вакхом и смотрел на него. Пустоплюнди сам не знал, что с ним делается в этом доме. Ему казалось, что он вступает в какой-то неизвестный мир, чуждый даже его счастливому миру неба и прямых сосен, но не менее прекрасный. Все ему нравилось здесь до слез, и он не мог объяснить — почему». Но самая интересная встреча Апостолиди была не со статуей Вакха, а с живой «богиней», — хорошенькой барышней, в которую он сразу влюбился. «Пустоплюнди не знал, какие бывают богини, он не видал ни одной и называл Попочку мысленно богиней, совершенно не отдавая себе отчета, что именно хотелось ему сказать, и все-таки выражался именно так». Он полюбил ее «неизвестно за что, неизвестно почему, но полюбил; вся она ему нравилась, и опять были в этой любви у него неведомые родные и неясные воспоминания о том, чего он никогда не видел». Попочка была вообще хорошенькая, хотя и не всем нравилась. «Но самое удивительное у Попочки, это был ее цвет лица: не розовый и белый, а какой-то прозрачный, не живой, удивительной чистоты и нежности, точно ее голова была сделана из куса мрамора». Все движения Попочки были странно красивы, без грации. Чаще всего она сидела совершенно неподвижно, даже не мигая ресницами, и так она была удивительно хороша». Но вот случилось несчастье, не особенно, впрочем, значительное. Возвращаясь с той самой прогулки, которая дала Апостолиди возможность полюбоваться Вакхом, Попочка упала в узкую и неглубокую речку, куда немедленно бросился ее спасать наш герой. Оба благополучно вышли из опасности, да и опасности никакой не было, но Попочка, мокрая, перепуганная, плачущая, была так некрасива, что Апостолиди решил: «Она равна всем; в ней он не найдет того, что дорого сердцу». Но от поисков красоты Апостолиди не отказался. Он немедленно уехал с места

своего обожания и крушения, но затем «хочет побывать на родине, там, где прямые колонны из пожелтевшего мрамора уходят в синее жаркое небо, там, где есть другое небо, которое люди называют морем, где он найдет то, чего не знал и всегда любил — красоту».

Читателю понятно теперь, почему я считаю именно Апостолиди новым человеком новой красоты. Надо заметить, что до встречи с Попочкой Апостолиди не только никем, а и ничем не интересовался. В молодом студенте естественно ожидать какого-нибудь отношения к науке, если не в смысле стремления к истине, то к карьере, наконец, просто к куску хлеба. Автор свидетельствует, что ничего этого в Апостолиди не было. В гимназии «он учился машинально, без малейшего интереса и понимания», и так же продолжал и в университете. «У него не было ни самолюбия, ни честолюбия; кажется, не было даже эгоизма». О любви он тоже не думал. У него были только какие-то смутные тяготения к «непонятному и необъяснимому», что при встрече с Попочкой вылилось в несколько более определенную форму «красоты». Попочка для него не женщина, а «богиня», все та же красота, ничего, кроме восторженного созерцания, не вызывающая. И когда Попочка утрачивает свою красоту, хотя бы лишь на короткое время, в волнах речонки, он собирается уезжать на родину, в Грецию, опять-таки не ради каких-нибудь там патристических или научных или еще каких интересов, а исключительно все ради той же красоты. Эта-то исключительность, кажется, и составляет новизну Апостолиди. Доселе служители так называемой чистой красоты обнимали своим принципом по крайней мере некоторые «житейские волнения», главным образом любовь, вследствие чего относились к женщине иногда очень возвышенно, иногда просто как к самке, но не отвлекали от нее все-таки одну красоту. Если не всегда душу женщины, то хоть тело ее они ценили, как нечто живое и сложное, способное вызывать сложные чувства. Ныне, для «новых людей» г-жи Гиппиус, от женщины ничего не остается, кроме отвлеченной красоты, в которой она уравнивается не только со статуей Вакха, но и с мраморной колонной или с напоминающей ее своею обнаженностью и гладкостью сосной. Только ее положение рискованнее: мраморная колонна или сосна не подвергаются той опасности, которая сразу и навсегда лишила бедную Попочку поклонения Апостолиди.

Вот истинное понимание той «новой красоты», которая дорога г-же Гиппиус и ее другу. Ее новизна состоит в очищенности от всяких — высоких и низких, но посторонних примесей. А вмес-

те с тем многое в биографии Апостолиди совпадает с собственной исповедью г-жи Гиппиус в стихотворении «Песня». Помните: «Стремлюсь к тому, чего я не знаю, не знаю... И это желанье не знаю откуда, пришло откуда... О пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает... Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете». Точно так же и Апостолиди не знал, откуда пришло к нему тяготение к красоте, он вспоминал о том, «чего он никогда не видел, чего с ним никогда не случалось», его всегда тянуло к себе «только непонятное и необъяснимое». И, взявши во внимание все это, а также и вышесказанное, мы, кажется, объясним себе многое.

Пока мы читали рассказы г-жи Гиппиус в журналах зауряд с другими, мы могли видеть в истории Апостолиди заурядный же, но довольно забавный анекдот об некотором молодом человеке, который разлюбил девушку только потому, что она промокла или обмокла в речке. Но теперь мы узнали, что автор «ведет войну»; он представляет в этой войне настолько значительную силу, что его «окружили враги», и если бы не мощная рука друга, то кто знает — не предстояли ли бы г-же Гиппиус те страшные минуты, которые так ярко описаны в «Цветах ночи». И мы, естественно очень заинтересованные, тревожно спрашиваем: кто враги? где враги? с кем война? Если мы и не решим этих вопросов так сразу, то получаем теперь по крайней мере возможность с большею уверенностью думать, что искомые враги г-жи Гиппиус и ее друга суть вместе с тем враги Апостолиди, а войну г-жа Гиппиус и ее друг ведут за него, Апостолиди, и подобных ему новых людей новой красоты, столь родственных им самим. Чтобы привести к одному знаменателю психологию Апостолиди и собственную свою поэтическую исповедь в «Песне», г-жа Гиппиус делает даже ничем не оправдываемые натяжки. В самом деле, Апостолиди грек, и отец, и мать его были греки, и он это знает, но почему-то не знает, где он родился, что даже совершенно невероятно, хотя бы уже потому, что в русские учебные заведения нельзя поступить без документов, в которых обозначается, между прочим, и место рождения. Но г-же Гиппиус нужна эта невероятность, чтобы заставить Апостолиди, подобно ей самой, стремиться неизвестно откуда, неизвестно куда и хотеть неизвестно чего. И вот г-жа Гиппиус самым бесцеремонным образом, как школьник товарищу при глухом учителе, подсказывает Апостолиди, откуда у него это молитвенное созерцание статуи Вакха, сосен, которые так напоминают греческие колонны, Попочки, которая так похожа на статую, что «голова ее была точно из куска мрамора сделана» и «чаще всего» она сидела не-

подвижно, «даже не моргая ресницами». А глупый грек все-таки ничего не понимает. Но ведь это все «ложные жесты», и, разочаровавшись в красоте Попочки, Апостолиди вполне сознательно собирается не в иное какое место, а в Грецию: он знает, что он оттуда и что его тянет именно туда. Но г-же Гиппиус нравятся «ложные жесты»...

Тем не менее Апостолиди глуп. Это и г-жа Гиппиус удостоверяет. Она рассказывает, что «он бродил по черным дорожкам парка, странный и глупый, и перепутанные, нелепые мысли ему приходили в голову». Апостолиди глуп, и кроме того он — Пустоплюнди. И это меня чрезвычайно смущает. Апостолиди — такое красивое имя, притом намекающее на какую-то высокую миссию, и оно так идет к служителю новой, невиданной красоты, а г-жа Гиппиус переделала это благозвучное и многозначительное имя в Пустоплюнди! Добро бы служителя новой красоты так называли профаны или враги: нет, сама г-жа Гиппиус иначе его не называет. Не значит ли это, что друзья г-жи Гиппиус вообще «ходят странные и глупые», что в головы им приходят «перепутанные и нелепые мысли» и что, обращаясь к ним, мы можем сказать: «пустоплюнди вы, пустоплюнди!..»

Вот тут и разбирайся. То нам новых людей и новую красоту представляют в лице несчастного человека, страдающего манией преследования, то в виде маленького злобного негодяя, то, наконец, — просто пустоплюнди! И подумать, что это еще только первые ступени...

Еще рассказ — «Голубое небо». Здесь очень недурна фигура некоего Антона Антоныча, молодого начальника почтово-телеграфной станции, чистенького, аккуратного, добросовестного и вместе с тем узколобого и самодовольного. Но не Антон Антоныч составляет центр рассказа, а двадцатидвухлетняя девица Людмила, долженствующая представлять собою нового человека и новую красоту.

В творчестве г-жи Гиппиус есть одна любопытная наивная черта. Ее, как и Пустоплюнди, тянет ко всему таинственному, необъяснимому, неясному, и ей хочется и читателю своему внушить почтение к этим туманам. Но вместе с тем она чрезвычайно торопливо и в высшей степени антихудожественно раскрывает свои неясности. Мы видели, как назойливо подсказывала она в «Богине»: Пустоплюнди грек и оттого-то ему милы Попочка, сосна, статуя Вакха. Глупый Пустоплюнди этому не внимал, но читатель-то сразу понял, в чем дело. Так и в «Голубом небе». Уж на что прозрачный, мало таинственный писатель был дедушка Крюлов, столь пригодный для детского чтения, а и тот знал, что

«наружность иногда обманчива бывает». А г-жа Гиппиус обманчивых наружностей, кажется, совсем не признает. По крайней мере, о девице Людмиле, как только она показывается в рассказе, автор сообщает: «При черных бровях и ресницах глаза были неожиданно светлые, без всякого цвета, странно прозрачные. Такая бывает вода в очень глубоких чистых прудах в тихую погоду». По поводу этих глаз некто когда-то сказал Людмиле: «Знаете, я бы искренно боялся сделаться вашим супругом. С вашими глазами лгать легко. Я бы не умел узнать по ним — обманываете вы меня или нет». И действительно, девица Людмила лжет и обманывает постоянно, сознательно, по принципу. Видите, значит, как любезно: обманщица даже вполне исключительная, а наружность-то у нее все-таки не обманчива. Но это любезность торопливо подсказывающей г-жи Гиппиус, а не самой Людмилы, которой, несмотря на сразу раскрытые автором карты, удается обманывать многих.

Попросту говоря, Людмила — кокетка, но кокетка из принципа. Вот как излагает она этот принцип одному из тех, которым она подавала очень определенные надежды на взаимность и супружеское счастье: «Да, я лгала. А разве можно и нужно всегда говорить только правду? Лжи столько же на свете, и она так же необходима, как правда. Зачем ее презирать?.. Я не знаю, действительно ли хорошо хорошее и честно честное. Докажите мне, что я должна подчиняться вашему долгу. Мне не страшно и не скучно подчиняться, я только не верю... не верю в ваши обязательства и нравственные законы... Это не я одна делаю, а все, все делают или почти все, только они делают бессознательно, а я сознательно и обдуманно. Я поняла, что нет людей на свете. Людей нет, а есть мужчины и женщины, и есть вечная, непрестанная борьба между ними. Иногда побеждает мужчина, и тогда женщина принадлежит ему, а иногда наоборот. Побеждает тот, кто сильнее. Я борюсь много и много побеждаю, и наслаждаюсь победой и унижением противника... Для каждой победы, для каждого торжества надо лгать, хитрить, притворяться. И я делаю это, все равно как на войне заряжают ружья и спускают курки. И чем больше убьешь, тем больше тебе славы». Победоносная девица Людмила не отрицает, что ей может встретиться мужчина сильнее ее, и тогда она влюбится, но, прибавляет она, «полюблю я, если только встречу не мужчину, а человека; да если и встречу, то не поверю». И она мстит мужчинам за то, что они не хотят или даже не могут видеть в женщине человека. В течении рассказа она встречается с неким Елецким, который ей кажется «таким, каких в самом деле нет», настоящим «чело-

веком», и она со страхом отгоняет возможность сближения, наговорив, однако, Елецкому много разного туманнейшего и претенциозного вздора, от которого, впрочем, сейчас же отреклась: это, говорит, я все лгала...

В рассуждениях девицы Людмилы надо различать две стороны. Одна — общая, где она поднимается до высших ступеней отрицания или сомнения, задумываясь над вопросом: действительно ли хорошо хорошее и честно честное? Об этом (равно как и о вышеупомянутой «красоте зла») надо не с девицей Людмилой разговаривать, тем более, что в конце рассказа она оказывается совсем не демоном зла каким-нибудь, а даже доброй девушкой, только уж очень легкомысленной. Другая часть исповедания веры девицы Людмилы, менее общая и отвлеченная, касается отношений между мужчинами и женщинами. И вот, значит, как смотрит на эти отношения новый человек женского пола. Отчаявшись в возможности мужчины — «человека», Людмила и сама не думает стать женщиной — «человеком», а напротив, укрепляется в позиции специально женских побед и одолений, в ожидании мужчины, который, в свою очередь, победит ее. С этой возможностью она считается, хотя, понятно, не желает ее и боится; но боится, хотя и очень желает, она и другой возможности, — не влюбиться, а полюбить, и не мужчину, а человека. Боится потому, что считает эту возможность невозможностью. Это именно то, «чего нет на свете, чего нет на свете». Ей показалось, как уже упомянуто, что Елецкий — «такой, каких в самом деле нет», но она сейчас же хватается за мысль, что и он — «как и все», а потому прогоняет его, желая сохранить в чистоте те минуты великого счастья, которые она пережила в недолгое время своей иллюзии. К сожалению, совершенно не видно, по каким основаниям она признала, хотя бы на минуту, Елецкого человеком, «каких в самом деле нет». Он является мельком, и читателю известно об нем только то, что он — «магистр». Это еще не очень определительно, ибо о магистрах нельзя все-таки сказать, что их нет на свете. Надо, впрочем, заметить, что Людмила и до встречи с Елецким испытывала мгновения, когда к ней приходило «счастье и непонятная радость, и волнение», — она «не знает откуда и почему». Последнее не удивительно, так как вообще героини и героини г-жи Гиппиус идут неизвестно откуда, неизвестно куда, и почему. Но удивительно некоторые из обстоятельств, приводивших девицу Людмилу в состояние счастья и непонятной радости и волнения. Она рассказывает, например: «Помню, у меня в детстве была большая книга с картинками, и на одной была нарисована скала, где сидел

пингвин, и скала и пингвин резко выделялись на голубом небе. И вдруг опять вернулось ко мне то чувство счастья...» Пингвин есть одна из самых глупых птиц, — он иначе так и называется «глупыш», — а потому одинаковость хотя бы и очень возвышенного настроения, вызываемого им и Елецким, не может, по-видимому, быть особенно лестною для последнего. Тем не менее Елецкий удовлетворенно заявляет, что он вполне понимает Людмилу, а та, поигравши с ним в пингвина и другие загадочности, объясняет, что все это она «выдумала»...

Странный новый человек девица Людмила; странный, неприятный, в общении неудобный. Но в книжке г-жи Гиппиус ей есть противовес в лице героини рассказа «Мисс Май».

Жил-был молодой человек Андрей, у него была невеста Катя. Они росли вместе, чуть не с самого раннего детства считались женихом и невестой и любили друг друга. Но тут замешалась мисс Май Эвер, англичанка, компаньонка тетки Андрея. Май с первого же раза произвела сильное впечатление на Андрея. Он смотрел на англичанку, «прямую и всю необычайную, и только удивлялся, почему другие не удивляются и не недоумевают, как он». И впоследствии, когда они несколько сблизились, Андрей говорит Май: «Какая ты необыкновенная». Удивительность и необыкновенность Май выражались как в ее наружности и даже костюмах, которые автор описывает с большою тщательностью, так и в ее душевных качествах. Май любит Андрея, но решительно отказывается стать его женой и рекомендует ему жениться на Кате. «Я не жена», — говорит она. Она не создана для «житейского, мелкого». Андрей дал ей короткое, но высшее счастье экстаза, которое девице Людмиле дал пингвин на скале, и больше ей ничего не нужно. Она уезжает, а Андрей женится на Кате, которую он не переставал любить обыкновенною, «житейскою» любовью.

Почему мисс Май англичанка? То есть почему г-жа Гиппиус сочла нужным выписать из Англии героиню для своего рассказа? Я думаю, единственно потому, что имя «Май» звучит так красиво и, согласно общему характеру творчества г-жи Гиппиус, так же загадочно подчеркивает загадочную эфирность героини. Помните: «как май ароматный, веселье весны». Когда Андрей однажды осмелился обнять мисс Май, то «под руками его было тонкое, почти несуществующее тело, почти призрак»... Этому соответствует и высшая тонкость мисс Май, которая несколько компенсирует грубую лживость и воинственность девицы Людмилы. Едва ли, однако, все-таки была действительная надобность выписывать героиню из Англии, ибо в том же рассказе один

чисто русский человек высказывает совершенно те же взгляды на отношения между мужчинами и женщинами, что и почти не существующая мисс Май. Человек этот — лакей Андрея, Тихон.

В наружности Тихона нет ничего необыкновенного или эфирного, у него «черствая и унылая физиономия». Но он мог бы сказать о себе, как одно из действующих лиц Островского: «душа моя из тонких парфюмов соткана». Параллельно — с художественной точки зрения слишком параллельно — роману Андрея — Катя — Май идет роман лакея Тихона, прачки Василисы и другой прачки Пелагеи. Как Андрей Катю, так Тихон Василису любит и ею любим, и жениться они собираются. Но, подобно тому, как мисс Май вторглась с своею удивительностью в роман Андрея и Кати, прачка Пелагея победила сердце лакея Тихона такую же удивительностью. Он ей говорит: «Ты меня, девка, коли хочешь знать, вот как приворожила. Я без тебя теперь ни ступить. Повернешься ты — мила мне, слово скажешь — еще милее... И сладко вот мне, и сладко, и сам я не знаю, что мне сладко. Главное — *вся ты для меня удивительная*, вот что главное». Но — и в этом отступление от параллелизма двух романов — Пелагея не похожа на почти не существующую Май: она требует, чтобы Тихон женился на ней, Пелагее, а не на Василисе. Но Тихон не согласен. Он возражает: «С Васенкой у нас обещанье, давнишнее, я ее, Васену, вдоль и поперек знаю, она славная жена будет. Может, и ты славная жена будешь — да жалею я тебя смертно в жены взять. Ты теперь, Поля, такая мне удивительная и сладкая, как бы мне от Бога ниспослание, а тогда что? Как Васена и будешь. Жена что? Жена всегда жена. Для духа нет простора, умиления нет».

Чрезвычайно красноречив этот новый человек лакейского звания, и хотя он, по всем видимостям, обременен телом, но в парении духа несколько не уступает почти бестелесной мисс Май, а уж тем более вечно лгущей девице Людмиле...

Что же это, однако, значит? Новые люди г-жи Гиппиус оказываются то маленькими злыми негодяями, то глупыми «пустоплюндями», с нелепыми мыслями в голове, то лгуньями, приходящими в экстаз при виде пингвина на скале, то почти не существующими в действительности лакеями. Если бы мы не знали, что все эти негодяи, лгуньи, пустоплюнди и лакеи представляют собою первые ступени к новой красоте, которая дорога г-же Гиппиус и ее другу, мы бы естественно подумали, что она беспощадно воюет с этою странною бандой, а потому и нажила себе в ней лютых врагов. Но так как это «первые ступени новой красоты», то, спрашивается, — с кем же ведет войну г-жа Гип-

пиус и кто враги, окружившие ее? Очевидно, наша надежда ответить на эти вопросы была преждевременна. Поживем — увидим, а пока после достаточно, кажется, тщательного исследования, ничего определенного сказать не можем, кроме разве следующего.

Об одном из своих действующих лиц г-жа Гиппиус говорит: «Женю можно бы было назвать хорошенькой девочкой, если бы она иначе себя держала. Но она слишком рано поняла, что она хорошенькая, и стала нестерпимо кривляться». Г-жа Гиппиус не лишена литературного дарования, но она слишком высоко оценила это свое маленькое дарование (в одном из ее стихотворений есть такая строка: «люблю я себя, как Бога») и пустилась в разные вычурности на тему о том, «чего нет на свете, чего нет на свете». Но и этого ей показалось мало. При всем своем презрении к тому, что есть на свете, она все-таки пожелала занять на этом свете известное общественное, притом воинствующее положение; и тотчас же, по щучьему веленью, по ее прошенью, ее окружили враги, хотя, может быть, именно их-то и нет на свете. Но раз они, по щучьему веленью, явились, надо воевать. Воевать же занимательнее всего под знаменем чего-нибудь нового, нового вообще, говоря немецким философским языком, — нового, как такового, а что именно представляет собою это новое: негодяйство восьмилетнего Кости, неустанную лживость Людмилы, экстаз при виде пингвина на скале, наконец, просто пустоплюнди, — это не важно...

О, поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?

